

Лион  
**ФЕЙХТВАНГЕР**

АВТОНОГРАФИЧЕСКИЕ  
ЗАМЕТКИ  
ЕВРЕЙ ЗЮСС  
ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ  
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ  
РАССКАЗЫ

ЗОЛОТОЙ ФОНД МИТОВОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

# Лион Фейхтвангер Одиссей и свиньи, или О неудобстве цивилизации

*Текст предоставлен издательством «АСТ»*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=160713](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=160713)*

*Л.Фейхтвангер Автобиографические заметки. Еврей Зюсс. Гойя, или Тяжкий путь познания. Рассказы: Пушкинская библиотека, АСТ; Москва; 2003*

*ISBN 5-94643-013-0, 5-17-016018-6*

*Оригинал: LionFeuchtwanger, "Odysseus und Schweine oder Das Unbehagen an der Kultur"*

*Перевод:*

*Сергей Александрович Ошеров*

## Аннотация

«... Муза, поведай мне ныне о втором плаванье любознательного Одиссея в страну феакиян – ибо о нем умолчал поэт.

Богоравный Одиссей, в бедях постоянный скиталец, превзошедший всех смертных своим хитроумьем, приближался тогда к порогу старости. Тридцать три года протекло с тех пор, как отплыл он под Троию: десять лет осаждал он Троию, а десять скитался по морю. И еще семь лет прошло с тех пор, как истребил он женихов, многобуйных мужей, что нудили к браку его жену, разумную Пенелопу, и грабили его достояние. Он же их всех

истребил, не разбираясь долго, кто из них больше виновен, кто меньше, и низринул в Аид их скорбные души. ...»

# Содержание

1	5
2	16
3	26
4	35
Примечания	43

# Лион Фейхтвангер

## Одиссей и свиньи, или О неудобстве цивилизации

### 1

Муза, поведай мне ныне о втором плаванье любознательного Одиссея в страну феакиян – ибо о нем умолчал поэт.

Богоравный Одиссей, в бедáх постоянный скиталец, превзошедший всех смертных своим хитроумьем, приближался тогда к порогу старости. Тридцать три года протекло с тех пор, как отплыл он под Трою: десять лет осаждал он Трою, а десять скитался по морю. И еще семь лет прошло с тех пор, как истребил он женихов, многобуйных мужей, что нудили к браку его жену, разумную Пенелопу, и грабили его достояние. Он же их всех истребил, не разбираясь долго, кто из них больше виновен, кто меньше, и низринул в Аид их скорбные души.

Итак, шестьдесят лет было теперь Одиссею. Постепенно ссутилились его могучие плечи, тучной стала его плоть, одевшая кости, и глаза утратили прежний свой блеск. И еще сломалось у него несколько зубов, и лишь их тупые черные корни торчали во рту, так что нередко было ему трудно зубами

отрывать от костей сочное мясо баранов и медленноходных быков. И если теперь ему приходилось натягивать свой тугосгибаемый лук, некогда послуживший для избиения наглых женихов, то большая часть работы доставалась на долю Афине, всегда опекавшей героя.

Но лишь редко он думал об этом. И если угнетала ему душу тоска по убывающей силе, он гнал ее прочь от себя, предпочитая радоваться изобилию, богатству, могуществу и прочим дарам, которыми его наградили бессмертные боги.

Ибо был он теперь богатейшим среди царей семи островов. И пусть Итака была мала и гориста и пастбища ее не годились для бодрых коней, пусть жители ее были не столь многоопытны в делах корабельных, как народы соседних островов, – все же вскармливали на ней довольно и коз, и свиней, и говяд. Большими стадами владел Одиссей на Итаке, еще два его стада паслись на острове Заме и четыре – на материке. В нижней кладовой своего пышно украшенного дома хранил он всевозможные сокровища – пышные ткани тончайшей работы, статуи из бронзы, прекрасные сосуды из меди и даже из золота. Много проворных рабов и немало рабынь было у него в услуженье. А свирепость кровавой расправы над дерзкими женихами до сих пор делала его страшным и грозным в глазах граждан Итаки и других, живших далеко за ее пределами.

Конечно, не все на Итаке было так же, как прежде, да и ни на одном из семи островов не было так же, как прежде. Когда

ахейцы отправлялись походом, чтоб разрушить священный Илион, всюду имели еще силу слова, которые любил повторять царь царей, позорно убитый Агамемнон: «Несть в многовластии блага, да будет единый властитель, единый царь». Теперь миновала пора героев, нравы стали мягче, а люди – слабее. Граждане Итаки хотели думать сами и дошли в своей дерзости до того, что обзавелись собственным мнением. Бывало даже, что некоторые начинали роптать: если теперь на острове не хватает мужчин, то виноват в этом многославный Одиссей; сперва он увел в битву под Троию прекраснейших юношей, цвет страны, и ни один не вернулся с ним назад, а когда подросло новое поколение – поколение женихов – он и их низринул в Аид. И тогда приходилось самому благородному скитальцу Одиссею прилагать руку и бить недовольных своим жезлом по спине или по голове.

Даже собственный его сын, рассудительный Телемах, был не совсем таким, как хотелось бы Одиссею: правда, был он и старше, чем казалось отцу. Он делал, что велел ему Одиссей, и ни разу не излетело слово противоречия из ограды его зубов. Но в своих долгих странствиях Одиссей научился читать в душах людей и замечал, что у сына есть собственные взгляды на некоторые вещи; и это его огорчало. И жена его, разумная Пенелопа, без сомнения, таила от него в душе некие воспоминанья и чувства. Потому что в долгие годы разлуки она, уж конечно, не раз приглядывалась к женихам, размышляя, кого ей избрать, если супруг ее еще долго про-

будет в неизвестности. А среди женихов были юноши могучие, прекрасные на вид, богатые и разумные. Одиссей подслушал, как некоторые служанки болтали, будто благородная Пенелопа смотрела на жениха Амфинома не так уж неблагоприятно. И если потом Одиссей не долго думая повесил служанок под стропилами кровли, так что они, как длиннокрылые дрозды, попавшие в сети, повисли, тихонько раскачиваясь взад-вперед, то сделал он это затем, чтобы положить конец таким толкам, ибо для слуха его они были мерзки. Но про себя он упрекал Пенелопу за то, что никогда не говорила она о временах женихов.

Но облака, омрачавшие порой мирный покой его духа, рассеивались, стоило ему подумать о том, как благополучно окончились все его похождения, странствия и беды. Ныне все злое исчезло в пучине шумящего моря, а ему досталась слава, такая слава, какой теперь, после смерти Ахилла, не был вознесен ни один из людей земнородных.

Часто в сердце своем сравнивал он свою славу со славой Ахилла. Того почитали, как бога, ибо он был величайшим героем среди войска ахейян. Но выше бранной славы казалась многоопытному Одиссею слава мудрого, разумного, изворотливого мужа, в том же, что со времен Прометея и Дедала никто не прослыл более хитрым, изобретательным и прозорливым, чем он, Одиссей, сомнений не было.

Повсюду среди ахейян пели о его подвигах: обо всем, что свершил он под Троей, и о том, как придумал он смелую и



хитрую уловку с деревянным конем, и о том, как странствовал по морям вплоть до самых дальних островов и один из числа мужей, бывших на кораблях итакийских, все перенес и спас свою жизнь, и о том, как перебил он женихов, вновь подчинив острова своей власти. Не всегда одно и то же гласили эти рассказы. Тому, что было на самом деле, порой и не верили, а из того, во что верили, не все было на самом деле. Но постепенно множество повестей сплеталось в одну повесть, а из разных правд рождалась одна правда.

В эту одну повесть поверили все: и те, кто рассказывал и пел, и те, кто слушал, и даже те, кто участвовал в событиях, о которых рассказывали и пели. И сам благородный Одиссей верил повести и часто даже по долгом размышленью не мог сказать, что в ней истинно и что только поется.

Вот, к примеру, толпа женихов, которую истребил он, и сын его, и оба пастуха. Их самих было четверо, он сам и трое соратников, – тут сомневаться не приходилось; но сколько же было женихов? Часто перебирал он в памяти их имена. Тридцать девять имен мог он вспомнить, и это был тоже немалый подвиг, если они вчетвером перебили тридцать девять человек. Но в стихах об убиении женихов пелось сначала, что триста душ низринул он в Аид.

Такое преувеличенье он не мог допустить, пришлось внести поправку. Теперь они пели в своих стихах про сто восемнадцать душ. Сто восемнадцать женихов истребил благородный Одиссей. На том и остановились: сто восемнадцать, ни

одним больше, ни одним меньше.

И для тех, кто принял участие в великом мщении – для рассудительного Телемаха, для богоравного свинопаса Евмея и для верного Филойтя, сторожителя круторогих быков, – число убитых женихов было теперь таково. И таково было оно для Пенелопы, разумной дочери Икария. Однажды – уже давно это было – она спросила с кротким удивлением: «Разве их было сто восемнадцать?» Теперь она этого уже не спрашивала. И сам он, многоопытный, многомудрый Одиссей, находил все более обременительными подсчеты, было ли число женихов ближе к тридцати девяти или к ста восемнадцати.

Кто же были те люди, которые заставляли верить в сотворенный ими мир больше, чем в пережитое на самом деле? Это были рассказчики, певцы. По большей части старые и слабые, они и годились только на то, чтобы петь и рассказывать. Хоть они не имели ни сокровищ, ни власти, все же был им почет от людей. Каждый уважавший себя царь держал своего певца, кормил его мясом и поил душистым вином. И недаром: ибо две вещи на свете радуют более прочих сердце людское – богатство и слава. Но слава превыше богатства. Умирая, человек поневоле покидает свои богатства, славой же он может наслаждаться и в царстве загробном. Стоит новой душе появиться там, тотчас плотно окружают ее души прежде умерших, и одна из них непременно спросит: «Скажи мне, душа, что случилось с моей славой средь

людей земнородных?» И если вновь прибывшая душа отвечает: «Славная тень, ты живешь по-прежнему в песнях», – то ликует славная тень. А без певцов не бывать и славе.

Певец Одиссея звался Фемий. И, как все певцы, звался он также «гомером». «Гомер» – это означало: «сопутник», «тот, кто не может ходить в одиночку». «Гомерами» называли певцов по двум причинам: первая – та, что многие певцы были слабы зрением, а то и просто слепы, что приходилось весьма кстати для их занятия, ибо внутреннее зрение становится острее по мере того, как угасает зрение внешнее. И еще их называли «сопутниками» потому, что они неспособны были ничего рассказать, если прежде другие не свершали дел, о которых певцы могли бы поведать.

Итак, гомер благородного Одиссея звался Фемий. Он пел также и женихам и от них получал мясо и прочее угощение. Но Одиссей не питал против него злобы и забыл ему это, ибо немногим ниспослали боги дар песнопенья и власть над словом. Да и что еще оставалось старцу делать в годы женихов? По собственному опыту знал Одиссей: нет подлея ничего, чем наш ненавистный желудок и его нужда. Желудок – самовластный властитель и тиран, он требует пищи и заставляет даже строптивых и претерпевших насилие позабыть свой гнев.

Потому Одиссей не покарал певца за то, что он служил женихам, и приказывал ему все снова и снова повествовать себе об убиении женихов. Фемий повиновался охотно: мер-

но и нараспев рассказывал он о ста восемнадцати убитых. И о других подвигах Одиссея Фемий должен был петь своему господину. Стихи рокотали, как волны моря, обильного рыбой, а Одиссей слушал.

Порой, когда слух его и сердце еще полны были божественным напевом, он сидел один на берегу винно-темного моря. Сладостно было с твердой земли смотреть на соленое море и в безмятежности вспоминать его угрозы. Но часто нападала на него мучительная тоска по прошедшему. Конечно, он знал, каково бывает на душе человека в беде. Сердце обрывается, ты слезно молишь богов и проклинаешь собственную глупость и заносчивое любопытство, погнавшее тебя навстречу всем опасностям; а стоит выбраться из беды, ты даешь обеты отныне быть мудрым и избегать безрассудства. Но это сильнее тебя: вскоре ты снова тоскуешь и мечтаешь о коварной пучине.

Шестьдесят лет было уже Одиссею, и страсти его ослабели. Но порой он чувствовал себя словно бы двадцатилетним, и брови его хмурились, когда он сравнивал то, как прежде отважно и мощно бороздил он пурпурноцветное море, и то, как теперь, забившись в свой угол, он проводит остаток дней. Много дорог вело по широкой земле, повсюду волновалось море, обильное рыбами, кораблями и чудовищами, и за всеми далями жили люди, которых он не знал, и были вещи, о которых он не ведал.

Последние чужестранцы, которых он видел, были феаки-

яне. Свыше меры разумные и счастливые, они обитали на далеком острове Схерии, на краю света, и часто любопытный Одиссей раздумывал об их нраве и об их обычаях. Ибо феакийцы не похожи были на прочих людей. Богоравные ахеане, и те, что жили на материке, и те, что населяли острова, если им казалось мало собственного добра, шли походом на далеких людей востока, о чьих сокровищах довелось им прослышать, чтобы с мечом в руке эти сокровища разграбить. А феакияне не прилежали душой к войне и не дорожили славою сокрушителей крепкозданных городов. Вместо этого они создавали всякие блага своим разумным, исполненным мудрого порядка трудом: они строили дома просторней и богаче, чем у других людей, они делали прекрасную утварь и на своих прочных пятидесятидвухвесельных кораблях отправляли ее за море, в разные места земного круга, обменивая свои изделия на сокровища народов, столь же отдаленных, как они сами, и привозя с собою руды, и пряности, и всякие диковины.

До боли ясно вставал перед взором старого Одиссея остров Схерия, приветливая земля феакиян. Давно скрылась она у него из глаз. Богоравные ахейцы не отваживались заплывать туда, на край бескрайнего моря, на своих утлых ладьях, а феакияне, хоть и могли на своих надежных судах достичь ахейских земель, не подавали о себе вестей. Иногда благородный Одиссей сокрушался о том, что, когда боги забросили его на их богатый, веселый остров, он не остался

там подольше, чтобы перенять разум и нравы феакиян. Они, хоть и были неласковы со всеми чужеземцами, ему бы позволили пожить и дольше. Прекрасная белорукая царица Навсикая смотрела на него приветливо, да и подобному богам царю Алкиною он пришелся по душе. Но долг погнал его дальше, к благородной Пенелопе, и на прочном, волшебном быстром корабле феакийцы отвезли его на родную Итаку.

Не мог больше сдерживать себя неугомонный Одиссей. Он решил во второй раз отплыть к феакийцам, не боясь опасностей моря и трудов соленой пучины.

Одиссей не сказал о своем решении жене, разумной Пенелопе, ибо опасался, что она станет плакать и заклинять его, чтобы он дерзко не пытал во второй раз негостеприимное море. Однако он поведал свое намерение сыну, рассудительному Телемаху. Тот немедленно ответил, что хочет плыть с отцом. Но это не входило в планы хитроумного Одиссея, и сперва с мягкостью, а потом и сурово он запретил ему думать об этом. Лукаво и льстиво расписал он сыну, как тот в его отсутствие будет вместо него править островом. Первым будет он на Итаке и вкусит сладость власти. Так утешал он юношу, воскрешая ему сердце словами. И еще отец напомнил ему, что надо быть строгим и, встретив неповиновение, бить строптивца жезлом прямо по рылу.

Потом Одиссей выбрал двадцать два могучих спутника и снарядил крутобокий, синегрудый корабль. Они спустили его на воду, приладили мачту и парус, в крепкоременные

петли просунули длинные весла, должным порядком устроив все корабельные снасти. Снесли они на корабль и припасы, сколько мог он вместить, и дары для феакийцев, никак не сравнимые с теми, что дали Одиссею феакияне, доставив его домой. Потом они натянули парус и взялись за весла.

## 2

Так в шестьдесят лет снова плыл он по морю, любознательный скиталец, богоравный Одиссей. Радостно глядел он на белопенные волны и вдыхал соленый запах. Он вопрошал себя, унялась ли вражда его старого недруга, бога Посейдона, и чуть ли не желал вновь испытать гнев колебателя земли. Но приветливо несла его пучина, небожители послали ему попутный ветер, люди, в чьи гавани он заходил, были дружелюбны и охотно пополняли его припасы, и после бесконечно долгого плавания причалил он, втайне разочарованный тем, что не испытал никаких приключений, в защищенной гавани острова Схерии.

Феакияне не любили иноземцев. Не без причин отыскали они себе остров на краю населенного мира, желая жить особняком.

Но они были богобоязненны и благозаконны, и, раз уж прибыл к ним чужеземец, они помогли ему и его спутникам вытащить на сушу черный корабль.

Одиссей приказал своим людям нести за ним подарки. Он тотчас направился к царю Алкиною, благороднейшему мужу из мужей феакийских, своему гостеприимцу. Он шел между навесами, под которыми стояли корабли феакиян – высокие, легко обтекающие море, легкокрылые, как птицы, и быстрые, как мысли. Ни один народ не умел строить таких. Одиссей



едва не пал духом, подумав о том, каким жалким выглядит среди них его собственный корабль, – а ведь он был лучший из всех, какие могли построить на Итаке. И Одиссей удивился, как удалось ему на своем ничтожном корабле благополучно проплыть столь длинный путь; и еще ему стало не по себе при мысли о пути обратном.

Он увидел верфи, на которых сколачивались эти корабли, и спросил, восхваляя его, о том волшебном судне, на котором семь лет назад он был доставлен на родной остров. Но феакияне, при всей своей вежливости, отвечали уклончиво и, как ему показалось, печально.

Наконец достиг он палат царя Алкиноя. Быть может, в его воспоминаниях стены крепости были мощнее, а сады пышнее, но, с другой стороны, за эти семь лет взгляд его стал наметанней, чтобы оценить прекрасное расположение и соразмерность дома. С восхищением взглянул он на золотых собак, стороживших вход, а внутри – на бронзовый венец карниза и на серебряных отроков, которые по-прежнему стояли на своих красиво изваянных подножьях и держали факелы, озарявшие палату во время многославных пиров.

Царь Алкиной, разумением Зевсу подобный, дружелюбно приветствовал Одиссея. Но у него, казалось, неприятно стеснилось сердце при виде вторично прибывшего гостя. Он рассказал, что колебатель земли Посейдон разгневался на феакиян за то, что они радушно приняли неудобного ему скитальца и великодушно доставили на родной остров. На об-

ратном пути бог самым ужасным образом потопил прекрасный корабль в виду берегов отчизны. Он сам, Алкиной, и его судьи и вельможи после того торжественно держали совет и решили впредь остерегаться чужеземцев. Потому и живут они на краю населенного мира, отделенные многими водами от остальных смертных, что хотят оградиться от нападений воинственных народов, которые могут, привлеченные молвой о богатствах острова и будучи сами бедны, напасть на любезных феакиян. Ведь так и погибли критяне, которые владели сокровищами и встречали иноземцев с неосмотрительным великодушием. Никто, конечно, не думает, что благородный гость прибыл как лазутчик, имея в виду злое, хоть и прославлен он до неба своим хитроумьем. Но решение совета – закон и для него, царя.

В смущенье выслушал эту речь благородный Одиссей. Но потом отвечал разумно:

– Часто, наслаждаясь счастьем на родной Итаке, сидя у берега моря или в моем крепкозданном доме с женой и рассудительным сыном, говорил я себе: всем этим ты обязан богоравному царю Алкиною и его проворным гребцам. Лишь затем, чтобы сказать тебе это, многовластный царь, и воздать тебе за гостеприимство благодарность, которую ношу я глубоко в сердце, прибыл я сюда, не убоявшись многотрудного плаванья. На этот раз я не припадаю к твоим коленям с мольбами и плачем, нет, я желаю добраться до дому с собственными гребцами. Правда, не пятьдесят два гребца на моем

корабле, – но такие суда умеют строить лишь феакияне, первые в море.

Между тем явились спутники Одиссея и расставили пред лицом царя дары. Скудными казались они в его преизобильном доме. Но благовоспитанный хозяин не подосадовал на это и в искусной речи похвалил дары, которые любезный гость привез далеко из-за моря.

Царь Алкиной знал себе цену и, при всей своей мудрости, был весьма словоохотлив. То, что делал он сейчас, было неразумно, быть может, и, уж наверное, противоречило решению, которое принял он со своими судьями. Но дары его благонамеренного гостя были столь скудны, что пробудили в нем желание показать иноземцу свои собственные богатства.

В нижнюю кладовую повел его Алкиной; быстро отвязал он ремень от кольца крепкой бронзовой двери, вложил в замок искусно выгнутый ключ. Громко заскрипели на петлях тяжелые створы – так при виде коровы дико мычит выгоняемый на луг круторогий бык.

И в раскрытую дверь блеснуло желтое золото, и красная медь, и бледное олово. Заструились тонкие ткани, ковры и одежды, ударил из мешков запах драгоценных благовоний, а из бочек – аромат старого сладкого вина. Тут же стояли прекрасно изваянные статуи, треножники, сосуды, двудонные кубки, кованные столь великолепно, словно изготовил их сам бог Гефест. А царь Алкиной, полный скрытой гордости, объяснял Одиссею, откуда все это великолепии. Вот

этот пестроблистающий тканый ковер – с восточного края земли, а этот огромный, с удивительным затейливым узором кратёр – с юга; эти камни, желтые и прозрачные, как мед, привезены ему из сумрачных и туманных дальних стран, а этот стол на львиных лапах и эта бронзовая богиня прибыли из страны, лежащей далеко за поверженной Троей. И всюду был волшебный блеск и дурманящий аромат. Одиссей же бродил среди этих сокровищ, и чувства его мутились, словно во хмелю. Он сказал:

– Воистину, царь, я объездил весь населенный мир и даже переступал его пределы. Я был и в святых местах, и на вершинах гор, где обитают боги, а люди и вещи теряют свою тень. Но ничего подобного тому, что ты мне показываешь сейчас, я не видел.

И это была правда.

А потом царь повел гостя в самую дальнюю камору, и там показал он ему нечто невиданное. Оно лежало там – это невиданное – беспорядочной грудой, и оно стояло там, выкованное, превращенное в оружие, и в лари, и в разную утварь. Новый металл был неказист на вид, иссиня-черен.

– Медь? – спросил в сомненье Одиссей. – Особый медный сплав?

С гордой улыбкой покачал головой царь Алкиной, разумением Зевсу подобный, и отвечал тихо, почти благоговейно и восторженно:

– Нет, благородный мой гость, это не медь и не бронза:

это железо.

– Можно мне потрогать его, твое железо? – спросил не без робости благородный Одиссей, и незнакомое слово с трудом ворочалось у него на языке.

– Ты можешь сделать это без опаски, – отвечал царь, – и можешь даже поднять его.

И Одиссей поднял его, и взвесил, и ощупал, и невиданный металл показался ему твердым и тяжелым. А царь Алкиной между тем расхваливал его свойства, его твердость и упругость, не в пример красной бронзе.

– Посмотри сам, – предложил он гостю, подавая ему копье с острым окончанием из невиданного металла. И сказал: – Брось же копье в одетую бронзой стену.

Одиссей так и сделал. И окончание осталось таким же острым, как было. Тут он признал, что оружие и утварь из нового металла должны быть действительно лучше всех прочих. Снова и снова ощупывал он неверной рукой и осматривал недоверчивым взглядом этот новый, иссиня-черный металл и в смущенье учился произносить странное слово: «Железо, железо».

Алкиной между тем рассказывал о железе. Оно пришло из самых дальних восточных стран, и никто не мог доставлять его, кроме феакиян с их быстрыми, пятидесятидвухвесельными волшебными кораблями. Пока что одно лишь оружие позволяет ковать из него Алкиной, испуганный судьбой острова Крита; ибо это пышное царство, заботясь только о том,

чтобы расширять свои познания и умения и создавать лишь прекрасные вещи, слишком уж пренебрегало оружием.

– Я думаю иначе, – говорил Алкиной, – и делаю из железа оружие. Я охотно употребил бы его с большей пользой, изготавливая из него утварь для дома и орудия для пашни. Но люди алчны, и разумный народ прав, если остерегается заранее. Боюсь, что придется нам еще многим снести голову иссиня-черным железом, прежде чем удастся обратить его людям на пользу.

Так говорил мудрый и миролюбивый царь Алкиной.

С малых лет научился Одиссей ценить медь и ало мерцающую бронзу, столь дивно полезные в делах войны и мира. А теперь он признал, что есть нечто лучшее – это иссиня-черное, это железо – и был смущен и даже опечален. Всегда думал он, что сердце его обращено к новому и разум открыт для нового; и вот он с тревогой глядел на железо, и дух его отвращался от невиданного металла, и он почти что ненавидел его. И если уж ему самому жутко при виде нового и при мысли о том, какие последствия из него возникнут, то как трудно будет привыкнуть к новому его вельможам, как трудно будет привыкнуть к нему тупой толпе богоравных ахейцев. Не одни иноземцы, но и сами ахейцы будут сотнями и тысячами истреблять друг друга, прежде чем отступятся от меди и от старой привычки из нее делать оружие и утварь, прежде чем примут они новое – употребление железа.

Не желая показать царю, как глубоко он взволнован, спро-

сил Одиссей с вежливым любопытством:

– Трудно, наверно, выковать из этого иссиня-черного металла то, что хочется, – пригодное в деле оружие или добрую утварь.

– Нелегко, – согласился Алкиной, благороднейший муж из мужей феакийских. – Но царь Федим из Сидона пришлет мне мастеров, искусных в ковке неподатливого железа, чтобы они обучили моих феакиян. Мы ведь любезны богам, ниспославшим нам в дар светлый ум и понятливость.

– Неужели, – спросил Одиссей, – властитель пышного Сидона и вправду пошлет тебе опытных мастеров?

– Он обещал мне, – ответил Алкиной, – и дал мне слово.

– Что значит бесплотное слово? – возразил Одиссей. – Разве не может хитроумный муж так составить речь, чтобы мимолетные слова ее были растяжимы и легки и он мог бы уклониться от своих обещаний?

Так разумно говорил он и вспоминал при этом об отце своего отца Автолике, от которого унаследовал свое хитроумие и который славен был умением клясться так, что клятвы его не имели силы.

Но царственный его собеседник, могучий Алкиной, засмеялся и молвил:

– Изобретателен ты, благородный Одиссей, и ведомы тебе все хитрости и уловки. Но ведь и меня нелегко провести. У меня есть нечто большее, чем слова. Взгляни!

И он отворил еще одну дверь. За ней сложены были плаш-

ки, и дощечки, и плоские кирпичики, больше из глины, но также из камня, и на всех кирпичиках, плашках и дощечках были выцарапаны знаки – черточки, точки и линии, кое-где и маленькие картинки, – множество запутанных знаков, повсюду разных и по-разному расположенных. Благороднейший муж Алкиной указал на плашки и сказал лукаво:

– Видишь, у меня есть письменные обязательства.

Многоопытный Одиссей, который многих людей, города посетил и обычаи видел, взглянул на дощечки и плашки и ничего не понял.

– Письменные? – спросил он растерянно.

– Ты видишь, благородный царь Одиссей, – объяснил ему хозяин, – на этих плашках – клятва повелителя Сидона, в которой он обязуется прислать мне искусных кузнецов и призывает на свою голову гнев тамошних богов в том случае, если нарушит клятву.

Больше еще испугался страдалец, в бедáх постоянный, чем при виде железа. Конечно, и раньше слышал он о таких значках и знал, что они в ходу у народов далекого востока и юга. Однако он думал, что это обычная волшба, колдовство как колдовство, которое когда действует, а когда и нет. Теперь же, когда Алкиной все растолковал ему, он понял, что эти черты и резы стоят большего. Они были орудием, которое могло закреплять мимолетные, бесплотные слова; они делали невидимое видимым, преходящее непреходящим, они делали людей равными богам. Удручающе ясно



стало ему, какую перемену в жизни смертных и в их мыслях вызовет употребление этих нацарапанных знаков. И в тот же миг подумал он, что его богоравные ахейцы, не столь быстрые разумом, как феакияне, должны будут немало потрудиться, прежде чем запомнят все знаки для всех слов. Да и у него самого как пойдет дело в шестьдесят лет? Не слишком ли он стар, чтобы перенять это страшное и полезное новшество – уметь писать? И столько треволнений увидел он впереди, столько трудов и смут, что голова его закружилась, словно после кораблекрушения в бурю, когда белопенные волны бросали его вверх и вниз. Едва удалось ему, как того требовал добрый обычай, не показать вида хозяину и сохранить притворное равнодушие.

### 3

Потом пришла и царица Навсикая. Он помнил первую встречу с нею. Она играла в мяч со своими подружками и служанками, а он вышел к ним из чащи кустов, обнаженный, весь в кровавых ссадинах и царапинах, весь грязный от ила и прелых листьев, – и при виде его все разбежались врозь. Лишь она одна не покинула места – прекрасная белокурокая Навсикая, и взглянула на него дружелюбно.

Об этом он вспомнил, едва она появилась. Но она уже не походила больше на тот образ, что запечатлелся в его душе. На ней было теперь покрывало, головная повязка и венец – она вышла замуж. Ему, раз уж он не остался, и не приходилось ждать ничего другого: он мог предвидеть, что она не откажет кому-нибудь из посватавшихся за нее знатных феакиян. Но все же он разгневался, убедившись, что муж ее – тот самый злоумный Евриал, что тогда оскорбил его дерзкой насмешкой, хоть сам был только странствующим купцом, а не героем. Царице Навсикае пристало бы выше чтить память о нем, Одиссее: она не должна была выбирать именно этого человека, чтобы делить с ним ложе.

Они поговорили дружелюбно, но сердце у него по-прежнему полно было неприязни и неуверенности... «Я Одиссей, – думал он, – сын Лаэрта, хитроумнейший среди смертных, молвой до небес вознесенный. Но я не знаю и при всей

моей мудрости не могу решить, не лучше ли мне было тогда остаться на этом благодатном острове и не возвращаться к себе на Итаку, где до сих пор и живут, и трудятся, и воюют так же, как делали это предки. Если бы я остался, до сего дня глядели бы на свет нечестивые женихи, и один из них, вероятно, Амфином, лежал бы в постели разумной Пенелопы, а Телемаха оттеснили бы в сторону. Я сам, Одиссей, был бы зятем властителя Алкиноя, его преемником и наследником всех его богатств, и белорукая Навсикая родила бы мне сыновей. А может быть, я поступил тогда умнее, вернувшись домой. Потому что здесь, на острове, мне пришлось бы изо дня в день утверждать себя перед богоравными феакиянами, и я не знаю, удалось бы мне это или нет, когда вокруг столько нового, чуждого и непонятного, чем благословили феакиан боги. Сердце мое робеет при виде многовесельных кораблей, иссиня-черного железа и запутанных знаков, которые они выцарапывают на камнях». Так размышлял благородный Одиссей, и сомненья омрачали его душу, подобно быстролетным облакам появляясь, исчезая и вновь набегая.

После отправились все к столу, ибо изобильный пир задал в его честь Алкиной. Восемь остроклычистых свиней, двенадцать жирных овец и двух быков криворогих велел Алкиной зарезать для этого пира. Все – сам Алкиной, его судьи и вельможи – сели на прекрасно-резные, покрытые шкурами кресла и подняли руки свои к приготовленной пище. Одиссей же сидел на почетном месте рядом с Алкиноем. Неустан-

но подносили слуги ломти сочного мяса и наполняли кубки; а в вино они подливали пряного сока корня непенте, вселяющего радость в сердца людей.

После ввели певца, гомера царя Алкиноя; этот гомер – звался он Демодок – был совершенно слеп. Все почтительно обходились с ним. Высокий меднокованный стул поставили для него посреди чертога у стройной колонны; на этой колонне повесили его лиру и дали к ней прикоснуться рукою певцу, чтоб ее мог найти он. Гладкий к нему пододвинули стол, принесли корзину с едою и кубок с вином, чтобы пил он, когда пожелает.

Одиссей ясно помнил, как дивно пел тогда, во время первого его пребывания на острове, этот гомер. Пел он о Трое, как пел потом и собственный певец Одиссея, Фемий. Но, без всякого сомнения, пенье Демодока было намного прекрасней. Он был лучший среди гомеров всех царей, его слово должно было вытеснить слова других, и если ему, Одиссею, суждено было впредь и вовеки громкой молвой до небес возноситься, то лишь в том случае, если возвещать о ней будет этот гомер с его бряцающей лирой и набегающими, словно волны морские, сладостными словами.

Тут благородный Одиссей подозвал кравчего, разделил лежавшее перед ним мясо, свою почетную долю, – полную жира хребтовую часть барана, лакомую и благоуханную, – и повелел кравчему отнести ее Демодоку, ибо, как и подобает, всеми на земле обитающими людьми высоко честимы гоме-

ры, а пенье Демодока навеки останется в его сердце. И кравчий проворно отнес от него мясо певцу, и певец благодарно принял даяние и хвалу.

Тут обратился к Одиссею славный Алкиной:

– Много слышали мы, многоумный Одиссей, о том, как ты силой и хитростью, по возвращенье домой, вновь взял в руки власть над островом, усмирив три сотни дерзких женихов. Но рассказывают об этом по-разному, как водится теперь у людей. Потому, благородный Одиссей, сам расскажи нам, как вправду было дело: ты-то должен это знать.

– Нелегко мне поведать об этом, – отвечал Одиссей, в бедах постоянный скиталец. – Снова сердце мое наполняется плачем сильнейшим, когда я вспомню злые часы, выпавшие тогда мне на долю. Если, однако, тебе, могучий властитель, охота услышать про это, я расскажу обо всем, ибо так подобает гостю. Но прежде всего я должен сказать тебе вот что: женихов, истребленных мною, было не три сотни.

Едва окончил он свою речь, как вмешался в беседу певец, божественный Демодок.

– Сладко мне будет узнать, – проговорил он старческим, но все еще благозвучным голосом, – от тебя самого, каково точно было их число. Многих спрашивал я об этом, но разные числа называли они. Однако большинство вопрошаемых толковало мне, что убитых женихов было не три и даже не две сотни, а сто восемнадцать.

И Одиссей, везде прославленный изобретеньем многих

хитростей, отвечал ему тотчас:

– Ты сказал это, любезный гомер. Их было сто восемнадцать.

И Демодок обрадовался и сказал:

– Сто восемнадцать. Так было и не могло быть иначе, и это правдоподобно. Сто восемнадцать! Число это хорошо звучит и отлично укладывается в размер стиха.

Одиссей, ободренный таким началом, рассказал об истреблении женихов со многими подробностями, которыми окружила это событие его память, крепко связав их между собою. Но Демодок слушал со вниманьем и думал, довольный: «Великие подвиги, как раз пригодные для того, чтобы я их воспел».

Окончив, Одиссей попросил, чтобы теперь, после его безыскусного рассказа, искусный певец поведал им о Трое. И похвалил Демодока:

– То, что рассказал ты о Трое, когда я был здесь в первый раз, не выходит у меня из памяти и по-прежнему звучит в моем сердце. На диво точно поведал ты об ахейнах, – что совершили они и какие беды претерпели во дни многотрудной войны, – так, будто сам ты был участник всему.

Демодок не заставил долго упрашивать себя. Он запел о гневе Ахилла, Пелеева сына, о поединке Гектора с Аяксом, о смерти Патрокла и о подвигах, совершенных Одиссеем под стенами Трои. И особенно весело и страшно звучала повесть о деревянном коне, придуманном многоумным Одиссеем с

тем, чтобы троянцы сами ввели коня в свой город. И они, глупцы, ослепленные богом, так и поступили. Но и герои, вместе с Одиссеем замкнутые в конской утробе, оказались не меньшими глупцами. Когда Елена в сопровождении троянских героев озидала коня, то, повинувшись внезапной сумасбродной прихоти, она стала окликать коня, изменив голос и подражая ахейским женам – также и женам тех ахейян, что скрыты были в конской утробе. А те – сперва один, потом другой и третий, – едва услышав голоса любимых, давно разлученных с ними подруг ложа, готовы были ответить; так они и выдали бы себя, если бы сообразительный Одиссей в ярости не принудил бы их могучей рукою к молчанию.

Сокрушенно слушал певца Одиссей. Он сам давно не вспоминал об этой неприятности во чреве коня и никогда никому о ней не рассказывал. Как вышло, что слепец и об этом знает доподлинно? Какой бог поведал ему все? Конечно, все происходило не в точности так, как описывал певец, но в общем это было верно: его товарищи, данайские вожди, вели себя тогда весьма неразумно. Они лежали в конском чреве съжившись, вплотную друг к другу, и часы казались им нескончаемо долгими. Низменные и нелепые прихоти нападали на мужей; лишь с трудом, зажимая и в самом деле им рот рукою, смог он, Одиссей, помешать им выдать себя голосом или шумом.

И Одиссей размышлял о людском неразумье – о том, как глупо они вели себя тогда и как глупо всегда ведут себя лю-

ди. Он думал о том, как трудно ему самому свыкнуться с мыслью об иссиня-черном железе и о знаках, выцарапываемых на камнях. И угрюмая тоска наполнила его сердце от того, что по воле богов человеку столь трудно избавиться от косности мысли и ясно смотреть на вещи.

Но он не выдал своего гнева и спросил Алкиноя:

– Скажи, многославный властитель, как поступаешь ты с песнями твоего гомера? Велишь ли ты и их тоже выцарапывать на камнях?

Рассмеялся благородный Алкиной и ответил:

– Понадобилась бы целая каменоломня, если бы пришлось выцарапывать все стихи, что поет мой гомер. Нет, любезный чужестранец, не для этого служат мне камни и редкостное искусство, а для важных и серьезных дел.

Смеялся Алкиной, смеялись остальные феакияне, и гомер смеялся вместе с ними, и обширный чертог оглашался смехом.

А потом седой судья Эхеней потребовал, чтобы гомер спел о странствиях благородного Одиссея по обильному рыбюю морю, о великих невзгодах и славных избавлениях, которые ниспосланы были в бедáх постоянному скитальцу враждебными или благосклонными богами. С радостью стал слушать Одиссей, ибо теперь о том, что при первом своем посещенье рассказал он сам, поведает певец, и он узнает, что ему думать о своих подвигах и какие из них останутся, стяжав непреходящую и вечно юную славу во все времена.



Демодок пел. С бьющимся сердцем, наново все переживая, слушал Одиссей о своих странствиях, о том, как он прибыл в Эолу, на остров ветров, и как побывал у циклопов, в мерзостной пещере, и как спускался в Аид. Он слушал о сиренах, о Сцилле и Харибде, о том, как его неразумные спутники съели коров Гелиоса. И он слушал о своем хитроумии, о прославленном своем хитроумии, все снова и снова о своем хитроумии и о своей великой и славной изобретательности.

Дивно пел Демодок, и все охотно слушали его и могли бы слушать всю ночь напролет. И Одиссей охотно слушал его. Он закрыл глаза, ему хотелось быть слепцом, как этот Гомер, чтобы впитать в себя его песню. Слушая его, он снова совершал свои подвиги и сносил свои невзгоды. Но они уже изменились: больше стало спутников, которых он потерял, выше стали волны, которые разгневанный Посейдон обрушил на его корабль. Слаще пели сирены, крупней и ужаснее был циклоп, и более льстиво улещала его нимфа Калипсо. Но как пел сейчас Демодок, так оно и было и так останется навсегда. Сам благородный Одиссей был одновременно и нынешним Одиссеем, и прежним. И так ожили в нем воспоминанья, что из-под его опущенных век заструились слезы. Но он не хотел показать свои слезы феакиянам, ибо веселье подобает пиру. И он, взявши свою широкопурпурную мантию, облек ею голову и так скрыл слезы. Потом он выпил вина, разбавленного пряным соком непенте, чтобы радость и доброе располо-

жение вернулись в его сердце.

## 4

В ночь после пира Одиссей не сомкнул глаз. Новое и невиданное волновало его душу, и ум его стремился поближе узнать неведомое. Его так и подмывало остаться у феакиян до тех пор, пока он не научится ковать иссиня-черное железо и пользоваться им и пока не уразумеет те знаки, которые они выцарапывают на глине и камне. Но ему было уже шестьдесят, и он стыдился стать посмешищем молодежи, если вдруг он, старик, начнет учиться, как малое дитя, да еще делать ошибки. На Итаке, в милой отчизне, не было ничего неведомого, там он мог на все ответить и был, без сомнения, самым разумным.

На другой день обратился к нему Алкиной, многомогущий властитель:

– Скажи мне, что ты предпримешь? Останешься ли ты у нас или вернешься на свой лесистый остров? Не скрою, что коль скоро ты остался бы здесь, твое пребывание было бы желанно для нас: ведь тогда ты не мог бы разгласить среди смертных все, что узнал о нашей веселой земле и наших богатствах. Но если ты и уедешь, мы не посетуем на тебя, ибо не должно насильно удерживать гостя. Правда, на этот раз мы не сможем дать тебе ни одного из своих кораблей, это противоречило бы нашим решеньям. Но, быть может, боги даруют счастливый возврат и твоему двадцатидвухвесельно-

му кораблю.

На миг заколебался многоопытный муж Одиссей, а потом ответил:

– Лишь затем, чтобы еще раз увидеть твое лицо, божественный Алкиной, прибыл я к вам, и еще затем, чтобы увидеть лицо царицы Навсикаи, ибо вы спасли мне жизнь. А теперь, убедившись, что у вас все благополучно, я желал бы вернуться на свой славный остров.

– Как ты хочешь, благородный Одиссей, так ты и поступишь, – промолвил в ответ ему Алкиной, – а мы отправим тебе дары на твой черный корабль и принесем богам жертву, чтобы они послали тебе попутный ветер.

Но прежде чем снова стащили на воду свой корабль Одиссей и его спутники, скиталец посетил певца Демодока. Он сидел вместе с ним в просторных сенях, радуясь вечерней прохладе, и они пили вино и беседовали друг с другом. И прозорливый Одиссей сказал:

– Счастливый жребий выпал тому мужу, кто будет вечно жить в песнях гомеров, и нет лучше участи, ниспосланной нам от богов, нежели моя, ибо о моих подвигах будешь петь и вещать ты, Демодок, по праву прославленный первым среди гомеров. То, что ты повествуешь о моих скитаньях и подвигах, принадлежит и вместе не принадлежит мне. Пока ты пел, мои подвиги отделились от меня, я взирал на них со стороны, они были моими и не моими, они были близки мне и

чужды, словно отрезанные волосы<sup>1</sup>.

Славный в народе Демодок отпил душистого вина и сказал рассудительно:

– Мы должны благодарить друг друга, богоравный Одиссей. Я – тебя, ибо твои подвиги – опоры моих песнопений и тем подобны костяку в теле. А ты – меня, ибо, не будь песнопений поэтов, развеялись бы подвиги героев без всякого склада и смысла.

– Это так, – согласился Одиссей, в бедáх постоянный скиталец. А потом продолжал: – О многих моих похождениях рассказал ты, и все они были точно живые. Лишь одно осталось слабым и бесплотным, подобным тени в Аиде. – Он увидел, что лицо слепца омрачилось, и поспешно сказал: – Наверно, я сам неправильно поведал о нем, рассказывая много лет назад.

И Демодок спросил:

– Какое из своих приключений ты имеешь в виду?

– Это история моего пребывания в доме Цирцеи на острове Эе.

– Ты разумеешь историю о том, – переспросил Демодок, – как богиня превратила твоих спутников в свиней? Но тебе проворный Гермес дал волшебную траву, чтобы ты снова превратил любезных спутников в людей. – Одиссей молчал,

---

<sup>1</sup> Здесь Гомер, который сообщил нам о втором плаванье Одиссея на Схерию, допускает некоторую вольность: богоравные ахеяне никогда не стригли волос, разве что для того, чтобы посвятить их милым усопшим. Достоверно известно, что Одиссей, сын Лаэрта, никогда не стриг волос. – *Примеч. авт.*

и поэтому певец добавил с заметной досадой: – Так рассказывал ты тогда. Двадцать два человека, говорил ты, и трава моли, говорил ты, – так я и пою уже многие годы.

И Одиссей, богатый уловками муж, повернулся к певцу и признался:

– Так я рассказывал, так оно и было, но только отчасти.

– Так поведай же мне об этом заново и все, – попросил его Демодок.

Одиссей повиновался ему и начал:

– Когда я усмирил Цирцею и разделил с ней прекрасное ложе, я приготовился превратить моих спутников в людей. В руке у меня была спасительная трава, данная мне Гермесом, вестником богов, волшебное растение моли; корень его был черен, цветок подобен белизною молоку, а действие его божественно. Подойдя к закуту, я увидел всех своих товарищей вместе, числом двадцать два, и, взглянув на них, я спросил себя: «Кто из них Полит, который был мне всех дороже? И кто из этих белоклычистых свиней – мой друг и двоюродный брат Ноемон? Кто из них Фроний, а кто Антиф?» И радость наполнила мне сердце, когда я подумал, что вот сейчас они предстанут предо мной в прежнем, знакомом обличье. И, помавая могучим корнем, я воззвал к ним: «Воспряньте, друзья и любезные спутники, подойдите, чтобы я коснулся щетинистой вашей оболочки спасительной травой. Едва я прикоснусь к вам, тотчас вы вновь обретете человеческий облик, – долгое, прямо стоящее тело, гладкую кожу и милый

нашим устам язык людей».

А они, слушая это, отступили прочь и забились в угол, явно страшаясь меня с моим корнем. Я думал, что богиня, волшебница Цирцея, эта чародейка, помутила им разум и сердце. И снова воззвал к спутникам и сказал им: «Послушайте, друзья, и поймите меня. Бог Гермес дал мне эту траву молли, чтобы разрушить злые чары. Позвольте мне прикоснуться к вашей щетине, и станьте снова людьми. Возвратитесь в прежний свой вид!» Но они еще боязливей отступали, и хрюкали, и повизгивали от страха, словно я хотел причинить им зло, и, так как дверь закута была отворена, они выбежали мимо меня наружу, часто семена короткими ножками и унося подальше свои жирные животы. Я же ничего не понимал, и в сердце у меня было смятение.

Наконец, подкравшись, я сумел коснуться корнем одной из свиней. Тотчас спала покрывавшая ее щетина, и предо мною предстал мой спутник Эльпенор, самый младший из нас, заурядный юноша, не отличившийся в битвах и не наделенный разумом. Он стоял передо мною прямо, в своем человеческом обличе. Но он не заключил меня в объятья, как я ожидал, и не ликовал, и не был счастлив. Нет, он стал упрекать меня, говоря: «Ты снова явился, злой нарушитель покоя? Ты снова хочешь нас мучить, подвергать наши тела опасностям и требовать решений от наших душ? Сладко быть тем, чем я был, валяться в грязи на солнышке, радоваться корму и пойлу, хрюкать и не ведать сомнений: так

ли мне поступать или этак? Зачем ты пришел, зачем насильно возвращаешь меня к ненавистной прежней жизни?» Так упрекал он меня, плача и проклиная. Потом он пошел, напился допьяна и лег спать на крыше Цирцеина дома. Но остальные спутники – свиньи – вернулись и разбудили его своим хрюканьем и визгом. Ничего не соображая от опьянения и сна, полный смутной тоски, кинулся он к ним навстречу, но угодил мимо лестницы, упал с крыши и разбился насмерть. А он был единственный, кого мне удалось расколдовать.

Многое пришлось мне перенести, но этот час был самым страшным. Сердце в моей груди стало тяжелым, оно оборвалось и упало, когда я понял: спутники бегут от меня, желая остаться свиньями и не возвращаться в человеческое обличье. Только одного я поймал и снова сделал человеком, – но как ненадолго и к чему это привело!

Черты Одиссея, пока он рассказывал, сделались старше, резче и суше. Его угнетало не только воспоминанье об этом часе, но и мысль, что сам он так же упрямо не желал войти в более светлый и строгий мир, который открыли перед ним феакияне.

И он заключил:

– Такова, Демодок, правда, и неправдив был мой прежний рассказ. Не двадцать два спутника расколдовал я, а только одного, да и его душа тотчас отправилась в Аид. А теперь скажи мне, чтимый в народе певец, будешь ли ты и впредь



петь о том, что случилось со мной у Цирцеи, так же, как пел прежде? Или ты будешь видеть перед собой то, что я тебе поведал?

Гомер Демодок отпил вина и долго молчал, размышляя. Потом он ответил:

– Благородный Одиссей, в бедах постоянный скиталец! Я думаю, что буду рассказывать эту историю так же, как прежде. То, что ты поведал мне сегодня, не годится для стихов. Для ныне живущих смертных такое несоединимо с песнями. – И он добавил вежливо и кротко: – Быть может, когда-нибудь потом...

И с этими словами слепец Демодок выбросил из своего сердца подлинную историю об Одиссее и свиньях.

Одиссей же вернулся домой, к благородной Пенелопе и к рассудительному Телемаху. Проходили годы, на Итаку заезжали чужестранцы, привозили вести и песни. Все больше песен ходило о странствиях Одиссея, и та, которую сложил Демодок о его похождениях на острове Эе у волшебницы Цирцеи и о превращении в свиней, была из числа самых любимых и пелась часто. И Одиссей, все время слышавший эту историю лишь в том виде, в каком поведал ее Демодок, сам в конце концов позабыл, как было на самом деле.

Еще двадцать лет жил благородный Одиссей на своей Итаке. Он жил спокойно и мирно, и его почти не мучила больше тоска, гнавшая выйти в пурпурноцветное море. Иногда он спускался в кладовую и озирал свои сокровища и в их числе

– подарки, привезенные от феакиян. К своим дарам они прибавили большой кусок иссиня-черного металла, и он лежал теперь в кладовой Одиссея, постепенно теряя свой блеск и покрываясь бурой ржавчиной. Одиссей глядел на это сперва удивленно, потом равнодушно. А там он перестал почти уже глядеть на металл и понемногу забыл его название.

Но все же сын его и преемник Телемах узнал название железа. А позднее узнали его и все ахейцы. В конце концов они научились и пользоваться этим иссиня-черным, этим неизвестным металлом, – но лишь после долгой борьбы и обильного кровопролития.

# Примечания

(«**Odysseus und Schweine oder Das Unbehagen an der Kultur**»)

Перевод. С. Ошеров, наследники, 2003

Впервые – в 1948 г. в журнале «Восток и Запад».

Согласно древнегреческой эпической поэме о странствиях Одиссея, после благополучного избавления от великанов-людоедов его корабль пристает к острову Эя, где царит волшебница Кирка. Она превращает в свиней половину спутников Одиссея; та же участь постигла бы и самого героя, если бы Гермес не вооружил его чудодейственным корнем «моли», отвращающим действие волшебства. Одиссей вынуждает Кирку вернуть человеческий облик его спутникам, и они проводят год на ее острове.

В своем рассказе Фейхтвангер заимствует образ спутника Одиссея, не желавшего превращаться из свиньи обратно в человека, из поэмы Никколо Макиавелли (1469—1527) «Золотой осел» (1517).

*Муза, поведай...* – Здесь и далее Фейхтвангер использует цитаты и перифразы из «Одиссеи» Гомера.

*...позорно убитый Агамемнон...* – Предводитель грече-

ского войска после взятия Трои возвратился на родину, где его ждала гибель в собственном доме. По одной из версий мифа, Агамемнон пал во время пира от руки Эгисфа, соблазнившего его жену Клитемнестру.

*Дедал* – изобретатель, искуснейший архитектор и скульптор.

*Евмей* – свинопас, один из немногих слуг Одиссея, сохранивших верность хозяину. К нему в отдаленный от города дом по совету богини Афины и отправился, вернувшись на родину, Одиссей.

*«Гомер»* – это означало: «сопутник»... – произвольное позднеантичное толкование, связывающее имя Гомера со словом «méros» – часть.

*...об отце своего отца Автолике...* – Автолик – в греческой мифологии ловкий разбойник, обитавший на Парнасе, «самый вороватый из людей», отец Антиклеи – матери Одиссея.